



18+

Арсения Костромская

Соль и кровь. Книга

1. Вдовья доля

«Автор»

2026

Костромская А.

Соль и кровь. Книга 1. Вдовья доля / А. Костромская — «Автор», 2026

Бескрай — мир, где суши почти не осталось, карты стоят дороже золота, а флот Короны ходит на жемчуге, вырезанном из груди русалок. Капитан Исса Корвен по прозвищу Шквал в долгах по самые клотики. Её латаная шхуна «Вдовья Доля» три месяца гнила у причала в Гавани Висельников, и наводка на одинокий коронный транспорт — последний шанс. Ночной абордаж у Рифов Молчания проходит как по нотам. Только в трюме вместо жемчуга — песок. И клетка. А в клетке — живой русал, которого адмирал Крэйн ждал лично. Команда хочет продать добычу Лиге. Лига хочет перепродать её Короне втридорога. По следу идёт фрегат с капитаном, которому очень нужно отличиться. А пленник — насмешливый, точный, ничуть не похожий на чудовище из проповедей — предлагает сделку, в которую Исса не верит: отпусти меня, и море будет у тебя в долгу.

© Костромская А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Последний дождь	6
Отлив	13
Фонари	20
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Соль и кровь. Книга 1. Вдовья доля

Глава первая

Последний дождь

Дождь кончился на девяносто первый день, под утро, и никто в Гавани Висельников этого не заметил. Привыкли. Три месяца вода падала сверху, хлестала сбоку, поднималась снизу, и человек переставал различать, где кончается небо и начинается лагуна. Потом она просто перестала падать. Исса Корвен проснулась от тишины, полежала, слушая, как с гика срывается последняя капля, и поняла, что Сезон Штормов закончился, а денег у неё нет.

Второе она знала и раньше. Но под дождём это было не так обидно.

Она вышла на палубу босиком. Доски были холодные, скользкие, в щелях стояла вода, и пахло так, как пахнет корабль, который три месяца никуда не ходил: мокрой пенькой, плесенью, вчерашней рыбой и немного — отчаянием, хотя Тибо утверждал, что отчаянием пахнут только трюмы у торговцев Лиги, а у них, у честных людей, просто подгнил брус под камбузом. Брус действительно подгнил. Исса знала это так же точно, как знала, сколько стоит новый.

«Вдовья Доля» стояла у третьего причала, прижатая к сваям бортом, в котором заплат было больше, чем родной обшивки. Шхуна была узкая, двухмачтовая, с высоким носом и низкой кормой — построена для того, чтобы уходить, а не для того, чтобы стоять. Стоять она не умела. Сохла, текла, скрипела, обрастала. За три месяца у ватерлинии выросла борода из зелёной слизи длиной в ладонь, и Пип по утрам свешивался за борт и обдирал её скребком, пока ему не надоедало. Надоедало ему быстро.

Над лагуной поднимался пар. Сквозь него проступали мачты соседей — «Сухой Бочки», «Ласточки», тяжёлого, как сундук, «Гроанова Сына», — и дальше, за мачтами, неровный венец рифов, внутри которого лежала Гавань. Снаружи этот венец выглядел как обычная полоса прибоя, каких на Южных Отмелях тысячи. Изнутри — как стена. Ворот в ней было четверо, и ни одни не стояли на месте: песок под водой ходил, проходы смещались, и местные лоцманы, сухие старики с лицами из дублёной кожи, проверяли их каждую неделю шестами и собственными пятками. Без лоцмана в Гавань Висельников не входили. Ни свои, ни чужие. Это не было записано ни в одной статье Кодекса, это было старше Кодекса, и потому соблюдалось лучше.

Сам Кодекс висел на берегу, на якоре. Якорь был огромный, втрое выше человека, вбитый лапой в скалу; двенадцать статей выбили на его веретене зубилом, и каждый, кто приходил в Братство, клал на железо ладонь. Исса положила свою в девятнадцать. Железо было тёплым от солнца, и она запомнила это лучше, чем слова.

Виселиц, кстати, в Гавани не было уже лет сорок. Последнюю разобрали на дрова в какой-то особенно холодный сезон. Название осталось — оно хорошо пугало купцов.

— Капитанша.

Тибо сидел на крышке люка, поджав ноги, и чистил рыбу. Рыбу он чистил всегда — даже когда её не было, он находил, что чистить. Левый глаз у него смотрел куда-то на бушприт, правый — на Иссу, и никто на корабле так и не научился понимать, каким именно глазом Тибо видит главное.

— Ханнек приходил, — сказал он. — Пока ты спала.

— И что сказал?

— Сказал, что любит тебя как дочь. Как дочь, которая должна ему за конопатку, за новый ватерштаг и за то, что он три месяца не продавал твой причал. А желающие, говорит, спрашивали.

— Желающие спрашивают про всё, что плохо лежит.

— Так оно и лежит плохо, — Тибо подцепил ножом рыбий хребет и вытянул его целиком, с головой, как ключ из замка. — Ещё сказал, что к новой луне ждёт денег или шхуну. Можно, говорит, частями. Например, грот-мачтой.

Исса подошла к фальшборту и посмотрела на берег. Там, на пологом склоне, лепились друг к другу дома из корабельных досок, из обломков, из того, что море приносило и что люди отнимали у моря; в окнах висело бельё, впервые за три месяца вывешенное сушиться, и от этого Гавань выглядела почти мирно. Как деревня. Как будто здесь жили люди, а не сорок капитанов, которые при случае перерезали бы друг другу глотки за хороший проход через мели.

— Сколько мы должны, — спросила она, не оборачиваясь. — Всего.

Тибо назвал цифру. Исса не изменилась в лице, только почувствовала, как левая скула, там, где старый шрам от каната, натянулась и заныла, — она всегда ныла к перемене погоды и к плохим новостям.

— Это с жалованьем?

— Без. Жалованье ребята тебе простят. Ну, до середины лета.

— Щедро.

— Они тебя любят, капитанша. Но жрать тоже любят. А я, ты знаешь, могу из ничего сварить похлёбку, но из ничего у меня выходит только ничего, а это блюдо на любителя.

Она повернулась. Тибо смотрел на неё правым глазом и ухмылялся — он всегда ухмылялся, это у него было вместо выражения лица, — но рыба в его руках больше не двигалась. Ждал.

— Говори, — сказала Исса.

— Что говорить?

— Ты три месяца чистишь рыбу на одном месте. А сегодня чистишь у моей каюты. Значит, что-то принёс.

Тибо вздохнул, вытер нож о фартук и сунул его за пояс.

* * *

То, что он принёс, звалось «Усердие».

Коронный транспорт, трёхмачтовый, пузатый, с маленькой командой и большим трюмом. Такие корабли Союз гонял с Южных Отмелей на север, в Высокую Марку, всякий раз, как кончался Сезон Штормов: всё, что за три месяца нарастили и выдавили из себя жемчужные фермы, грузили в ящики, ящики — в трюм, и везли туда, где из жемчуга делали ветровые камни, а из камней — флот. Обычно такие транспорты шли караваном, под охраной. Обычно.

— Он один, — сказал Тибо. Они сидели в каюте; дверь была закрыта, иллюминатор тоже, хотя в каюте от этого стало душно, как в бочке. — Караван ушёл без него две недели назад. А «Усердие» стоял на ремонте — у него в шторм оторвало перо руля, вот такую доску, капитанша, я сам видел, как её тащили. Пока ему новый руль вешали, все уже ушли. А ждать следующего каравана им нельзя, у них сроки.

— Откуда знаешь про сроки?

— От человека.

— У тебя на каждом острове человек.

— На каждом не на каждом, а на Ржавой Косе есть. Писарь при фермах. Мы с ним одно время вместе работали, — Тибо деликатно не уточнил, какую работу делали вдвоём будущий писарь и будущий кок. — Он мне должен. Ну, я ему тоже кое-что должен, но он об этом не знает. Так вот. «Усердие» вышел с Ржавой Косы четыре дня назад. В трюме — тихий жемчуг. Ящики, капитанша. Ящики с печатями. Писарь сам их пересчитывал и сам опечатывал, у него до сих пор, говорит, пальцы в сургуче.

— Сколько ящиков?

Тибо назвал. Исса медленно, очень медленно положила ладони на стол.

Стол был отцовский. Всё в этой каюте было отцовское, кроме койки, которую она заменила, потому что на старой не могла спать, — и кроме неё самой, хотя Гардт как-то сказал, что это спорно. Сабля на стене тоже была отцовская: простая, без золота, с рукоятью, вытертой до

гладкости ладонью человека, которого Коронный Союз повесил на площади Высокой Марки двенадцать лет назад за контрабанду зерна. За зерно. Не за жемчуг, не за оружие, не за людей — за двадцать мешков пшеницы, которые он вёз на юг, где хлеб был дороже совести. Исса иногда думала, что, если бы его повесили за жемчуг, ей было бы легче. Было бы хоть понятно, за что.

Она не думала об этом каждый день. Это было как погода: просто всегда где-то было.

— Он один, — повторила она. — Без конвоя. С новым рулём, который ещё не притёрся. И идёт он...

— Рифами Молчания, — сказал Тибо. — Больше ему некуда. Восточный проход в эту пору забит песком, а вокруг он не успеет — сроки.

— Ты дважды сказал «сроки». Чьи?

Тибо впервые за весь разговор перестал ухмыляться.

— Вот этого, капитанша, писарь не знает. Знает только, что груз ждут к определённом дню и что ждёт его не казна. Ждёт лично кто-то. Большой. Писарь сказал: «Такой большой, что я и имени вслух не скажу». А он у меня не трус.

— Он у тебя писарь.

— Писари тоже бывают смелые. Редко, но бывают.

Исса посмотрела на карту.

Карта лежала на столе всегда — её никогда не убирали, только переворачивали, когда нужно было есть, и тогда ели на обратной стороне, на чистой, и потом Пип отскребал с неё жир. Это была её карта. Не купленная, не украденная — нарисованная. Отец начал её двадцать лет назад, она продолжала двенадцать. Южные Отмели на ней были прорисованы так, как их не прорисовывал никто в Бескрае: каждая коса, каждая банка, каждый проход, который открывался только на большой воде, и каждый, который закрывался на малой. Карандаш, тушь, свинцовый грифель, поверх — пометки шифром, который знали два человека, и одного из них уже не было. Корона за такую карту отдала бы фрегат. Исса за фрегат её бы не отдала.

Рифы Молчания лежали в шести днях к северо-востоку. Длинная, кривая гряда, похожая на позвоночник утопленника. Назвали её так потому, что над ней не было прибоя. Море там стояло гладкое, как в миске, и с палубы казалось, что впереди глубокая чистая вода, а под этой гладкой водой в полутора саженьях торчали коралловые гребни, острые, как бритва. Рифы не шумели. Они ждали. Опытные капитаны проходили их на рассвете, когда низкое солнце высвечивало под водой тени; неопытные проходили один раз.

— «Усердие» будет там дня через четыре, — сказала она. — Если капитан у него не дурак — пойдёт ночью, чтобы к рассвету стоять у входа, и на рассвете полезет внутрь.

— А если дурак?

— Тогда нам и делать ничего не придётся. Соберём ящики со дна.

Тибо хмыкнул. Исса провела пальцем по карте — от Гавани к северо-востоку, мимо двух безымянных банок, через пролив, который на её карте был помечен маленьким крестиком и словом «Пятка», к кривому позвоночнику Рифов. Шесть дней. При хорошем ветре — пять. «Вдовья Доля» умела ходить быстро; это было единственное, что она умела по-настоящему хорошо, кроме как течь.

— Ханнек даст нам выйти?

— Ханнек сделает вид, что не заметил. Если ты ему пообещаешь.

— Что пообещаю?

— Долю. Ну, такую, небольшую. Как дочь отцу.

— Ханнек мне не отец.

— А ты скажи, что отец. Ему понравится.

Исса не ответила. Она стояла над картой и считала: людей, воду, сухари, стрелы для баллисты, бочки с морским огнём, которых было две и из которых одна подтекала. Считать она

умела быстро. Потом посчитала ещё раз — ящики. Посчитала цену. Посчитала долг. Разница вышла такая, что у неё на мгновение стало сухо во рту.

— Зови Гардта, — сказала она.

* * *

Гардт пришёл не сразу. Сначала по трапу простучали его шаги — тяжёлые, медленные, с паузой на каждой третьей ступеньке, где доска давно треснула и он её берёт; потом в двери показалось плечо, потом бритая голова, а потом, пригнувшись, он вошёл весь и сразу стало тесно.

Гардт был большой. Не высокий, а именно большой, как бывает большим старый дуб или бочка с солониной: широкий, тяжёлый, плотный во всех направлениях. Нос у него был перебит так давно, что сросся куда захотел. На предплечье, на левом, синел вырезанный ножом коронный якорь — старая, грубая, расползшаяся с годами работа, которую он никогда не пытался свести. На шее на кожаном шнурке висел деревянный Кормчий, тёмный от пота, с отбитым кончиком весла. Других вещей с флота у Гардта не осталось. Он говорил, что эту не отдаст, потому что Кормчий тут ни при чём.

— Ну, — сказал он.

Тибо рассказал ещё раз, короче. Гардт слушал, глядя на карту, и молчал. Он вообще больше молчал, чем говорил, а когда говорил, делал между словами такие паузы, что собеседник успевал передумать. Исса за двенадцать лет научилась не перебивать. Это было единственное, чему она научилась у кого-то, кроме отца.

— Транспорт, — сказал наконец Гардт.

— Транспорт.

— Коронный.

— Коронный.

Он помолчал.

— Команда человек двадцать пять. Морская пехота — десяток, не больше. Если капитан толковый, стрелков посадит на марсы. — Он поднял на неё глаза, маленькие, светлые, утонувшие в складках. — Ночью брать будешь.

Это был не вопрос. Исса кивнула.

— На рассвете он полезет в Рифы. Значит, ночью будет стоять у входа и ждать света. Стоять, Гардт. На якоре, со спущенными парусами и с вахтой, которая три часа таращится в темноту и видит только свои фонари.

— Фонари, — повторил Гардт. Подумал. — Фонари они не потушат. Побоятся, что их самих на рифы снесёт без огней.

— Вот и я так думаю.

Гардт кивнул. Он почесал якорь на руке — он всегда его чесал, когда думал о Короне, хотя сам вряд ли это замечал, — и спросил:

— А жемчуг куда?

— Продадим.

— Кому?

— Лиге. Кому ещё. Через Гавань, через фактора. Как всегда.

Гардт снова кивнул, но медленнее. Исса знала этот кивок. Он значил: «Я согласен, но у меня есть мнение, и я тебе его скажу, когда ты меньше всего будешь этого ждать». Мнение у Гардта было обо всём, что касалось жемчуга, и мнение это было простое: жемчуг — товар, а откуда он берётся — дело тех, кто его добывает. Двадцать лет он прослужил на коронном флоте. Он видел, откуда берётся жемчуг. Он считал, что это правильно.

Исса не спорила. В этом не было смысла: Гардт не менял мнений, Гардт их донашивал.

— Выходим завтра, — сказала она. — С вечерним отливом. Тибо, скажи Ханнеку, что он мне как отец. Гардт — люди. Кто пропил сапоги, пусть идёт босиком, но идёт. Кто пропил голову — оставь на берегу, мне такие в Рифах не нужны.

— Пип? — спросил Гардт.

— Что Пип?

— Мал.

— Пипу двенадцать, и он единственный на этом корабле, кто трезвый все три месяца. Пип идёт.

Гардт хмыкнул, что у него означало смех.

* * *

Вечером она пошла к якорю.

Не потому, что нужно было, — просто так. Перед каждым выходом она ходила к якорю, клала на него ладонь и стояла немного, а потом уходила. Если бы кто-нибудь спросил зачем, она сказала бы, что проверяет, не утащили ли его. Никто не спрашивал. В Гавани Висельников вообще мало спрашивали: здесь каждый второй делал что-нибудь странное перед выходом, кто плевал за борт, кто привязывал к бушприту дохлую чайку, кто молился Пряхе Течений, а Старый Гроан, говорят, всякий раз перед дальним походом стриг себе ногти на ногах и выбрасывал их в лагуну, чтобы море знало, что он вернётся за остальным.

Солнце садилось за рифы, и вода внутри кольца стала медной. На берегу зажигали огни. Из «Пустого Якоря», таверны у самого причала, — неприятное место, где оставляли клинки у входа и где поэтому дрались только кулаками, — доносились голоса: кто-то пел про утопленницу, которая вышла замуж за кита. Пел плохо. Пели ему хуже.

Исса положила ладонь на железо. Оно было тёплым. Удивительно, подумала она, три месяца лило, а оно тёплое.

«Капитан равен капитану». «Взятое в бою делится при всех». «Кто продал брата — тот не брат». Двенадцать статей. Буквы были выбиты неровно, разными руками, в разные годы, и одна статья, седьмая, была исправлена: кто-то когда-то сбил старое слово и выбил поверх новое, и теперь там стояло «судить при всех», а что стояло раньше, не помнил никто. Исса любила эту седьмую статью больше всех. Она означала, что даже здесь, даже на железе, можно передумать.

— Капитан Корвен.

Она обернулась не сразу. Голос был знакомый, ленивый, с той особой сладостью, какая бывает у людей, слишком долго проживших на хороших харчах.

Ханнек стоял в трёх шагах от неё, сложив руки на животе. Живот у корабельщика был такой, что руки на нём лежали, как на столе. Ханнек вообще за последние годы много чего нажил: живот, три стапеля, половину причалов в Гавани и перстень с чёрной жемчужиной, который он вертел на пальце. Мёртвый жемчуг, подумала Исса, — пустой, перегоревший. Носить такое на руке было всё равно что носить на шее высохшую голову. Но Ханнеку нравилось. Он говорил, что перстень напоминает ему: всё на свете однажды выгорает, кроме долгов.

— Мастер Ханнек, — сказала она.

— Девочка моя, — сказал Ханнек. — Уходишь, значит.

— Тибо же вам сказал.

— Тибо мне много чего сказал. Тибо плакал. Ты знала, что он умеет плакать левым глазом отдельно от правого? Я тридцать лет в Гавани, такого не видел. — Он подошёл ближе и тоже положил руку на якорь — рядом с её рукой, но не касаясь. — А вот куда уходишь, он не сказал.

— Значит, не знает.

— Тибо? Тибо знает, где у меня в конторемышь живёт. — Ханнек вздохнул. — Я не выпытываю, девочка. Я беспокоюсь. Сезон только кончился, даже рыба ещё не проснулась. А ты уходишь на корыте, которое я три месяца держал на плаву собственными молитвами. Если ты его утопишь, кто мне заплатит?

— Если я его утоплю, мастер Ханнек, мне уже будет всё равно.

— Вот, — сказал он печально. — Вот это меня и беспокоит.

Он посмотрел на её шхуну — на латаный борт, на зелёную бороду у ватерлинии, которую Пип так и не дочистил.

— Знаешь, на твой причал желающие есть, — сказал он, как будто между прочим. — Хорошие люди. С деньгами. С двумя кораблями.

— Мой причал не продаётся.

— Всё продаётся, девочка. Просто не всё — дорого.

Исса подумала, что если сейчас ударит его, то Ханнек больше не даст ей ни гвоздя, ни доски, ни причала, и Тибо придётся плакать уже обоими глазами. А если не ударит, то будет помнить этот разговор до самых Рифов. Злость поднялась, горячая, от живота к горлу, как всегда, — и, как всегда, остыла быстрее, чем дошла до рук. С годами она стала остывать быстрее. Отец говорил, что так и должно быть. Отец, правда, говорил ещё, что к тридцати она научится не краснеть, когда злится, а ей было двадцать семь, и она краснела.

— Доброй ночи, мастер Ханнек, — сказала она.

— И тебе, девочка. Попутного. И помни про десятую.

Она пошла к причалу и спиной чувствовала, как он смотрит. Смотреть Ханнеку не запрещал ни один Кодекс.

* * *

На «Вдовьей Доле» не спали. Это было слышно с берега: стук, скрип, перебранка, звон чего-то, что уронили в трюм и что теперь доставали. Гардт стоял у грот-мачты, широко расставив ноги, и говорил с людьми — тихо, без крика, с паузами, но люди бегали. На баке Пип, висая на руках на вантах, осматривал крепление фока-шкота, и было видно, что ему нравится висеть. На юте, возле штурвала, сидела Нима и вязала узлы.

Нима всегда вязала узлы. Маленькая, тонкая, вся какая-то прозрачная — пепельные волосы, светлые глаза, руки, которые никогда не лежали спокойно, — она сидела на бухте троса, подтянув колени, и пальцы у неё двигались сами по себе: беседочный, шкотовый, рыбацкий штык, снова беседочный. Исса когда-то спросила, зачем, и Нима ответила: «Так он спокойнее». Кто «он», Исса не уточняла. Знала.

— Ветер завтра будет? — спросила она, проходя мимо.

Нима подняла голову. Глаза у неё в сумерках казались почти белыми.

— Будет. С юго-запада. Он сейчас спит, но к ночи проснётся. Он злой будет, капитан. Застоялся.

— Злой — это хорошо. Злой быстро ходит.

— Ему не надо помогать, — сказала Нима, и пальцы на мгновение замерли. — Сам донесёт.

— Я и не прошу.

— Я знаю, — сказала Нима и опустила глаза. Пальцы снова пошли: беседочный, шкотовый.

Исса постояла рядом ещё немного. Ей хотелось сказать что-нибудь — что никто её не заставит, что никто не узнает, что здесь не учебный корабль Инквизиции и никто не станет звать её по номеру, — но всё это она уже говорила, два года назад, когда подобрала Ниму в Сальтмаре, тощую, злую, в чужой куртке, у бочки с отбросами, где та выбирала рыбы головы. Слова тогда не помогли. Помогло время. Время и то, что Исса ни разу её ни о чём не попросила.

Поэтому она не сказала ничего, просто положила руку ей на голову, на мгновение, — пепельные волосы под ладонью затрещали, как сухая трава, и встали дыбом, — и пошла дальше.

У камбуза пахло луком. Тибо, вернувшийся от Ханнека, что-то резал, напевая сквозь зубы ту самую песню про утопленницу и кита. Пел он лучше, чем в таверне.

— Видела Ханнека, — сказала Исса. — Говорит, ты плакал левым глазом.

— Врёт, — обиделся Тибо, не оборачиваясь. — Обоими. Просто левым дольше, он у меня от природы чувствительней.

— Он сказал — десятая. Я думала, он седьмую запросит.

— Он запросил пятую, капитанша. Я его до десятой слезами дожал. Ты мне теперь новый фартук должна, этот весь мокрый.

Исса засмеялась. Это вышло неожиданно, громко, и Гардт у мачты обернулся, а Пип на вантах едва не сорвался. Ничего смешного не было — долги, Ханнек, Рифы, двадцать пять человек на коронном транспорте и десяток морской пехоты, которых придётся брать в темноте. Но было тепло, кончился дождь, у камбуза пахло луком, и завтра они выходили в море. Через три месяца, через девяносто один день, «Вдовья Доля» наконец переставала стоять.

Внизу, в трюме, кто-то уронил что-то тяжёлое и выругался голосом Орвена — длинно, изысканно и без единого матросского слова. Исса впервые за этот сезон слышала, чтобы лекарь ругался. Она решила, что это хороший знак.

Она поднялась на ют, встала у штурвала и положила ладони на рукояти. Дерево было влажным. Под ногами, где-то в глубине корпуса, корабль поскрипывал — тихо, нетерпеливо, как собака, которая услышала, что хозяин взял поводок.

— Знаю, — сказала ему Исса. — Завтра.

Глава вторая

Отлив

Пип считал, что лучшее место на корабле — фор-салинг, и был прав. Оттуда было видно всё: палубу, похожую на длинную узкую ладонь, людей на ней, маленьких и сосредоточенных, как муравьи над дохлой мухой, лагуну, рифы, а за рифами — открытое море, которое три месяца было серым, а сегодня наконец стало синим. Оттуда можно было плюнуть на голову любому, кроме капитана, и никто не узнал бы, чей это плевок. Пип никогда не плевал. Но знать, что можешь, было приятно.

Ещё оттуда было слышно всё, что говорили внизу. Ветер относил слова вверх, и они долетали до салинга чистые, без шума, как будто их говорили прямо в ухо.

— Отдать кормовой.

Это сказала капитан. Негромко. Она стояла у штурвала, но штурвал не держала — его держал Длинный Ферс, рулевой, тощий, как весло, и такой же молчаливый, — а капитан просто стояла рядом и смотрела на воду. На воду, а не на людей. Пип давно заметил, что она почти никогда не смотрит на того, кому отдаёт приказ. Сначала он думал, что это от гордости. Потом понял: она смотрит туда, где будет результат приказа. Отдать кормовой — значит, корму начнёт отводить от причала, и она смотрела на щель между бортом и сваями, как та растёт.

Кормовой отдали. Щель росла.

— Кливер на ветер.

Кливер пошёл вверх, хлопнул, наполнился, и нос «Вдовьей Доли» мягко, будто нехотя, начал отваливать от причала. На берегу кто-то свистнул. Ханнек стоял на краю своего стапеля, большой и круглый, и махал им платком. Платок был белый. Пип подумал, что Ханнек, наверное, специально купил белый, чтобы было видно издали, как он машет, и чтобы капитан помнила.

— Отдать носовой. Грот поднять. Тише, тише, не рвите. Ферс, право немного.

Длинный Ферс повёл штурвал. Грот пополз вверх по мачте, тяжёлый, мокрый, потемневший за три месяца, и когда он развернулся во всю высоту, Пип увидел на нём заплату, которую сам пришивал зимой, — кривую, похожую на рыбу. Ему стало стыдно, и он отвернулся.

Отвернулся к лоцману.

Лоцман стоял на носу. Его звали Онно, но в Гавани его звали Пяткой, потому что он, говорят, нашёл проход через Пятку — пролив к северо-востоку — именно пяткой, когда шёл по мелководу и наступил на край глубины. Онно был старый, коричневый, с ногами, как корни, и всё лицо у него было в складках, а в складках — соль. Он стоял на самом конце бушприта, держась за штаг одной рукой, и смотрел вниз, в воду, и время от времени поднимал другую руку, левую или правую, — и тогда капитан, не оборачиваясь, говорила: «Ферс, лево», «Ферс, право», «Ферс, так держать», и «Вдовья Доля» поворачивала, как будто её вели за ниточку.

Пип знал, что внизу, под водой, рифы. Он видел их однажды на малой воде — серые, острые, в зелёных волосах, похожие на спины огромных зверей, спящих лицом вниз. Сейчас была большая вода, вечерний отлив только начинался, и рифов не было видно. Была только гладкая вода, медная от заката, и старик на бушприте, и поднятая рука.

— Почему он не говорит? — спросил Пип у мачты. Мачта не ответила. Зато ответил голос снизу:

— Потому что, если скажет, она перестанет его слушать.

Пип посмотрел вниз. Под салингом, на вантах, висел Гардт — висел, как висят на вантах только очень большие и очень старые моряки: без усилия, всем весом, как бельё на верёвке. Как он туда залез, Пип не слышал. Он вообще никогда не слышал, как Гардт куда-нибудь залезает, хотя тот был тяжелее любых двух людей на корабле.

— Кто перестанет?

— Капитан. — Гардт помолчал. — Она его руку слушает. А слова она будет обдумывать. Пока обдумает — мы на рифе.

Пип подумал над этим.

— А если он ошибётся рукой?

— Не ошибётся.

— А если?

— Тогда она увидит раньше него, — сказал Гардт. — Смотри на воду, а не на старика.

Пип стал смотреть на воду. Вода была медная, гладкая, ничего в ней не было видно. Потом — вдруг — он увидел. Не риф, нет. Просто в одном месте медь была чуть темнее, а в другом чуть светлее, и светлое шло полосой, изгибаясь, как река по равнине, а тёмное лежало по бокам. И «Вдовья Доля» шла по светлому.

— Видишь, — сказал Гардт без вопроса.

— Вижу.

— Она это видит с юта. А ты — только с салинга. Вот и вся разница между капитаном и юнгой.

Гардт помолчал ещё и добавил:

— Ну и ещё пятнадцать лет.

Он слез вниз так же неслышно, как залез. А Пип остался смотреть на воду, на светлую реку под тёмной медью, и думал, что пятнадцать лет — это немного. Ему было двенадцать. Значит, в двадцать семь. Ровно столько, сколько капитану сейчас.

У внешних ворот Онно опустил обе руки, и это значило — всё. Он прошёл по бушприту назад, легко, как по половице, спрыгнул на палубу, получил от капитана кошель — Пип видел, что она дала ему больше, чем положено, и видел, что Онно это тоже видел, — и спустился в свою лодку, которая всё это время шла за шхуной на буксире. Перерезал конец. Помахал. Лодка отстала и стала маленькой.

А «Вдовья Доля» вышла в открытое море, и море её приняло: подняло нос, опустило, подняло снова, и по всему корпусу, от киля до клотика, прошла долгая дрожь, которую Пип почувствовал ладонями сквозь мачту. Как будто корабль потянулся после сна.

— Фок ставить, — сказала капитан. — Все паруса. Курс норд-ост.

* * *

Нима была права: ветер проснулся к ночи и был злой.

Он пришёл с юго-запада, как она и говорила, сперва порывами — ударит в паруса, отпустит, ударит снова, — а потом задул ровно и сильно, и «Вдовья Доля» легла на левый борт и пошла так, что вода шипела у подветренного планширя. Пип любил, когда она так шла. Палуба становилась косой, как крыша, и по ней надо было ходить, держась за всё подряд, и брызги летели через бак, и в каждой брызге, если присмотреться, было по кусочку луны.

Капитан не уходила с юта до полуночи. Она стояла, расставив ноги, и почти ничего не говорила, но несколько раз Пип видел, как она подходит к Ферсу, кладёт руку на штурвал поверх его руки и чуть доворачивает — на спицу, на полспицы, — и шхуна отвечала, выпрямлялась, и шипение под бортом менялось, становилось ниже и ровнее. Он не понимал, как она это делает. Он спросил у Ферса. Ферс сказал: «Слушает». Ферс за раз говорил не больше одного слова, и это было уже много.

В полночь капитан сказала: «Гардт, вахта твоя», — и ушла вниз. Но через час Пип, которого послали на камбуз за горячим для вахты, видел, как она снова поднималась по трапу, в одной рубашке, босиком, и стояла у фальшборта, держась за ванту, и смотрела на ветер. Не на море. На ветер. Как будто его можно было видеть.

На корме, у штурвала, на бухте троса снова сидела Нима. Пип не знал, когда она спит. Казалось, никогда. Она всё вязала свои узлы, и волосы у неё стояли вокруг головы облаком — ветер их рвал, а они не ложились, потому что, как она сама однажды объяснила, «в них он

сидит». Пип не понял, кто сидит в волосах у Нимы, но спрашивать не стал. Нима не любила, когда спрашивали.

Он отнёс кружку Гардту и, проходя мимо Нимы, остановился.

— Хочешь горячего?

Нима подняла голову. Глаза у неё в темноте светились, как у кошки.

— Нет.

— Тибо сварил с перцем.

— Тем более нет.

Пип сел рядом. Палуба под ним качалась, и он упёрся пятками в комингс.

— Ты его держишь? — спросил он шёпотом.

Нима долго не отвечала. Пальцы её двигались: петля, перехлёст, затяжка.

— Нет, — сказала она наконец. — Он сам идёт. Ему хорошо. Он три месяца сидел на привязи, а теперь бежит, как пёс по берегу. Зачем его держать.

— А могла бы? Ну, если б надо было?

— Могла бы.

— А сильно?

Пальцы замерли.

— Пип, — сказала Нима. — Иди спать.

Он ушёл. Но, уходя, оглянулся и увидел, что она сидит, не вяжет, а держит в руках недо-вязанный узел и смотрит на гротовый парус — на то место, где ветер наваливается на полотнище всей своей тяжестью, — и лицо у неё такое, как бывает у человека, который стоит на краю очень высокой скалы и очень хочет прыгнуть в воду, но знает, что внизу камни.

* * *

На второй день Гардт учил Пипа драться.

Это происходило каждый день, когда позволяла погода, на шкафуте, между грот-мачтой и камбузом, и было, по общему мнению команды, лучшим развлечением на борту после еды Тибо. Пип был невысокий, коренастый и упрямый. Гардт был Гардт. Пип бросался на него с кулаками, Гардт стоял, а потом Пип лежал. Иногда Гардт стоял не совсем, а чуть-чуть сдвигался, и тогда Пип пролетал мимо и лежал уже с другой стороны.

— Ещё, — говорил Гардт.

Пип вставал.

— Ты смотришь на кулак, — говорил Гардт. — Не смотри на кулак. Кулак врёт.

— А куда смотреть?

— На плечо. Плечо не врёт. Перед тем как ударить, человек всегда сначала двигает плечом. Ещё.

Пип бросался. Смотрел на плечо. Плечо Гардта не двигалось. Пип лежал.

— Оно не двинулось!

— Я тебя не бил. Я отошёл. Ты сам упал. — Гардт протягивал ему руку, огромную, с кулаком в старых белых шрамах, и поднимал, как котёнка. — На ногах стой. На ногах, говорю. Ты как цапля стоишь — на одной. Вес вниз. Колени мягкие. Палуба качается, ты качаешься с ней. Ещё.

Матросы, свободные от вахты, сидели вокруг на бухтах и подавали советы. Советы были плохие. Тибо высунулся из камбуза с поварёшкой и сказал, что если Пип хочет победить Гардта, то надо не драться, а дожидаться, пока Гардт уснёт, и связать ему шнурки. Гардт сказал, что не носит шнурков. Тибо сказал, что тогда тем более.

На четвёртый раз Пип сделал вид, что бросается вправо, а сам качнулся влево, как учили, и почти — почти! — достал Гардта кулаком в живот. Гардт поймал его руку в полудюйме от своего пупка. Посмотрел на кулак. Посмотрел на Пипа.

— Хм, — сказал он.

Матросы засвистели. Пип покраснел до ушей. Гардт отпустил его руку, повернулся и ушёл на бак, ничего больше не сказав, но Пип видел — он был уверен, что видел, — как у боцмана под седыми усами что-то дёрнулось. Может, улыбка. А может, просто ветер.

Он стоял посреди шкафута, тяжело дыша, и вдруг понял, что рукав у него задрался до локтя. Он быстро одёрнул его, натянул на запястье. Огляделся. Никто не смотрел. Все смотрели на Гардта, или на море, или на Тибо, который громко объяснял кому-то, что похлёбка, сваренная на злом ветре, всегда выходит острее, чем на добром, — это наука, это ещё его бабка знала.

Никто не видел трёх волнистых синих линий у Пипа на запястье.

Никто, кроме капитана. Она стояла на юте, у самого поручня, и смотрела на него сверху. Недолго. Потом отвернулась к морю.

Она никогда ничего не говорила ему про эти линии. Ни разу за год. Пип не знал, хорошо это или плохо.

* * *

Лекарь Орвен жил в самом тёмном углу корабля — в бывшей канатной кладовой под баком, где пахло смолой, уксусом и ещё чем-то кислым, от чего у Пипа всегда щипало в носу. Там у Орвена были полки, на полках — склянки, в склянках — порошки, жидкости, сушёные водоросли, какие-то маленькие белые кости, которые Пип однажды принял за рыбы, а Орвен сказал, что это «вероятно, рыбы», и больше ничего не сказал.

На третий день капитан послала Пипа к Орвену узнать про морской огонь.

Орвен сидел на табурете перед бочкой — той самой, подтекающей, — и обматывал её по нижнему обручу полосой просмоленной парусины. Делал он это медленно, аккуратно, длинными сухими пальцами, на которых были жёлтые и бурые пятна, как на старой карте. Очки у него были на носу — круглые, тёмные, почти чёрные стёкла. Орвен носил их всегда, даже ночью. Говорил, что глаза слабые и не выносят света. Пип никогда не видел его глаз и иногда, по ночам, представлял, что за стёклами ничего нет, просто темнота. Это было страшно и интересно одновременно.

— Капитан спрашивает, — сказал Пип от двери, — сколько у нас огня.

— Полторы бочки, — сказал Орвен, не поднимая головы.

— А почему полторы?

— Потому что вторая течёт. Я, полагаю, сумею её остановить. Но половину содержимого мы, вероятно, уже потеряли.

— Куда?

— В трюм.

— А он не загорится? Трюм?

Орвен закончил виток, затянул, отрезал парусину ножом и только тогда повернул голову. Пип увидел своё отражение в тёмных стёклах — маленькое, двойное, с открытым ртом.

— Морской огонь, — сказал Орвен, — не горит сам по себе. Его нужно зажечь. А если зажечь, он горит в воде, на воде, под водой и, если угодно, в трюме. Погасить его нельзя ничем. Он гаснет, когда кончается. — Он помолчал. — Поэтому в трюм с огнём никто не ходит. Ты понял?

— Понял, — сказал Пип. — А из чего он?

Орвен повернулся обратно к бочке.

— Из многого.

— Тибо говорит — из жемчуга.

— Тибо, — сказал Орвен, — говорит много.

— Но из жемчуга?

Орвен долго не отвечал. Пип уже решил, что ответа не будет, — с Орвеном так часто бывало, он просто переставал разговаривать на середине, как будто кто-то закрывал внутри него дверь, — и повернулся уйти. И тогда лекарь сказал, тихо, будто самому себе:

— Из мёртвого жемчуга. Из того, что уже отдал всё, что мог. Чёрный порошок, сера, смола, ещё кое-что. — Пауза. — Из жемчуга делают многое, Пип. Из живого — одно, из тихого — другое, из мёртвого — третье. Ничего не пропадает. В этом смысле жемчуг очень... экономичен.

Он сказал это странно. Пип не понял, что было странного, но запомнил интонацию — как будто Орвен произнёс слово, которое во рту у него было горьким.

— Передай капитану: полторы бочки, — сказал Орвен. — И что я прошу разрешения взять из трюма три пустые бутылки из-под уксуса. Для дела.

— Для какого?

— Для моего.

Пип ушёл. На трапе он вспомнил, что Орвен — единственный человек на корабле, который бреется каждый день. Даже вчера, когда «Вдовья Доля» шла на злом ветре, лежа на борту, и всех мотало, Пип видел, как Орвен стоит у себя в кладовой, держась одной рукой за полку, а другой ведёт бритвой по щеке — медленно, ровно, не порезавшись. Тибо говорил, что лекарь бреется, потому что боится, что борода у него вырастет седая и выдаст возраст. Гардт говорил, что лекарь бреется, потому что у него привычка. Капитан не говорила ничего.

Пип думал, что Орвен бреется, потому что когда-то был кем-то, кому полагалось бриться каждый день. Но кем — придумать не мог.

* * *

Пятку прошли на четвёртый день, на рассвете.

Это был узкий пролив между двумя длинными песчаными островами, голыми, без единого куста, похожими на двух китов, заснувших рядом. Вода в проливе была мутная, жёлтая от песка, и глубины в ней не было никакой — то сажень, то полторы, то вдруг четыре, а через десять шагов снова сажень. На коронных картах этот пролив был обозначен как непроходимый. На карте капитана — маленьким крестиком и словом.

Капитан сама встала к штурвалу. Ферса отправила на нос с лотом. Убрали всё, кроме фока и кливера, и «Вдовья Доля» пошла медленно, осторожно, как кошка по забору.

— Сажень с четвертью, — кричал Ферс с носа. Это было больше слов, чем Пип слышал от него за месяц.

— Хорошо.

— Сажень.

— Хорошо.

— Три четверти!

Капитан не ответила. Она чуть повернула штурвал вправо, на полспицы, и Пип, стоявший рядом с ней на юте — его послали держать карту, придавив её от ветра локтями, — увидел, что она не смотрит ни на карту, ни на Ферса. Она смотрела на воду впереди — на жёлтую, мутную воду, в которой ничего не было видно.

— Капитан, — сказал Пип шёпотом. — Там же ничего не видно.

— Видно.

— Что?

— Рябь. Смотри. Вон там — мелкая, частая. Там песок близко. А вон там — длинная, ленивая. Там глубже. Вода над мелью торопится, а над глубиной — нет. Как люди.

— Как люди?

— Мелкие люди всегда торопятся. — Она повернула ещё. — Ферс?

— Сажень с половиной!

— Вот, — сказала капитан.

Пип посмотрел на воду. Рябь была. Мелкая и длинная, частая и ленивая. Она была там всегда, понял он, — он видел её тысячу раз, просто не знал, что на неё нужно смотреть. Ему стало жарко от этого понимания, как от горячей похлёбки.

— А на карте это есть? — спросил он.

— На карте есть, где искать. А что искать — на карте нет. — Капитан наконец на него посмотрела, быстро, искоса. — Это не нарисуешь. Это надо смотреть. Лет пятнадцать.

Пип открыл рот и закрыл. Гардт ей рассказал, понял он. Или она слышала — с юта всё слышно. А может, она просто сама это знала: что пятнадцать лет — это и есть вся разница.

Пятку прошли, не коснувшись дна. Когда пролив кончился и вода вдруг стала синей и глубокой, а песчаные киты остались за кормой, вся команда, кто был на палубе, выдохнула разом. Кто-то засмеялся. Капитан отдала штурвал Ферсу, вернувшемуся с носа, и сказала:

— Все паруса.

И только тогда Пип заметил, что у неё мокрая рубаша на спине. Насквозь. Хотя было холодное утро и ветер с моря.

* * *

К вечеру пятого дня на горизонте поднялась полоса.

Сначала это была просто линия — чуть светлее неба, чуть темнее моря. Потом линия стала шире. Потом над ней закружили птицы, белые, крикливые, сотни птиц. Но прибоя не было. Вода перед полосой лежала гладкая, ровная, синяя, и Пип, глядя на неё с салинга, никак не мог понять, что не так, пока не понял: она слишком гладкая. Вокруг шла зыбь, длинная и ленивая, — а перед полосой зыбь просто кончалась. Будто кто-то провёл по воде ладонью и разгладил.

— Рифы Молчания, — сказал Гардт снизу. Опять он был на вантах, опять Пип не слышал, как он туда залез. — Красиво, да?

— Красиво, — сказал Пип.

— Под этой красотой столько костей, что из них можно было бы построить ещё одну Гавань. — Гардт помолчал. — Смотри теперь не на рифы. Смотри на юг. Вон туда, где солнце садится.

Пип посмотрел. Солнце садилось огромное, красное, и всё море на западе было как расплавленное. Ничего там не было, кроме солнца.

— Ничего нет, — сказал он.

— Смотри.

Он смотрел. Глаза заслезались. И вдруг, на самом краю, там, где красное солнце касалось воды, он увидел маленькую чёрную занозу. Три тонкие чёрточки. Мачты.

— Корабль! — закричал он так, что сам испугался. — Корабль на зюйд-весте!

С юта поднялась голова капитана. Она не взяла трубы. Она просто посмотрела туда, куда он показывал, — долго, шурясь, — и кивнула.

— Три мачты, — сказала она. — Пузатый. Идёт тяжело. — Она повернулась к Гардту, который уже спускался. — Это он.

— Он, — согласился Гардт.

— Убрать паруса. Все. Встанем вон за той банкой, где не видно с моря. Огней не зажигать. Трубок не курить. Тибо — ужин холодный. — Голос у неё не изменился, но Пип, который сидел на самом верху, почувствовал, как по кораблю что-то прошло — по людям, по мачтам, по доскам, — будто натянули невидимый канат. — Он будет у входа в Рифы к полуночи. Станет на якорь и будет ждать рассвета. А мы будем ждать его.

Она посмотрела вверх, прямо на Пипа.

— Глазастый, — сказала она. — Слезай.

Пип полез вниз, по вантам, быстро, не глядя на ноги, и сердце у него стучало так, что отдавалось в ступенях выбленок. Глазастый. Она сказала — глазастый. Ему хотелось смеяться, но смеяться было нельзя, и он кусал губы.

Внизу, на палубе, уже двигались люди. Тихо, без суеты. Кто-то тащил из трюма абордажные крючья, кто-то точил тесак о брусok — вжик, вжик, — и звук этот в вечернем воздухе был

далеко слышен, пока Гардт не подошёл и не положил точильщику руку на плечо, и тот перестал. Нима сидела на своей бухте, но не вязала. Руки у неё лежали на коленях, и Пип впервые увидел их неподвижными.

Орвен стоял у входа в свою кладовую, в тёмных очках, хотя солнце уже село, и смотрел на юго-запад. Туда, где на краю красного моря медленно шёл тяжёлый трёхмачтовый корабль, полный ящиков с печатями. Он смотрел туда так долго и так неподвижно, что Пип, проходя мимо, тоже остановился и посмотрел — может, там что-то ещё?

Там ничего не было. Только корабль и солнце.

— Мастер Орвен, — сказал Пип. — Вы чего?

Орвен вздрогнул — едва заметно, плечом, — и повернул к нему тёмные стёкла.

— Ничего, — сказал он. — Полагаю, мне просто давно не доводилось видеть столько жемчуга сразу.

И ушёл в свою кладовую, и закрыл дверь.

Глава третья

Фонари

«Усердие» встал на якорь за час до полуночи, ровно там, где Исса и думала: в полумиле от входа в Рифы, на чистой воде, носом к ветру. Убрал паруса. Зажёт огни.

Огней было пять. Два на корме, большие, жёлтые, в медных клетках. Один на носу. Один на грот-мачте, высоко, у марса. И один — маленький, дрожащий — посреди палубы, где, видимо, стоял вахтенный и грел над ним руки. С «Вдовьей Доли», затаившейся за низкой песчаной банкой в двух милях к югу, огни казались пятью звёздами, которые зачем-то спустились на воду и теперь не знают, как подняться обратно.

— Пять, — сказал Гардт.

— Пять, — сказала Исса.

— Марсовый фонарь — это стрелки. Сидят под ним, чтоб видеть палубу. А их не видно.

— Знаю.

— Значит, первым делом — марс.

— Знаю, Гардт.

Он замолчал. Они стояли на баке рядом, оба тёмные, без огня, и Исса чувствовала его плечо в полушаге от своего — тяжёлое, тёплое, как бок вола. Двенадцать лет она чувствовала это плечо рядом перед каждым боем. Иногда ей казалось, что если когда-нибудь его там не окажется, она просто не сможет пошевелиться: будет стоять и ждать, пока плечо вернётся.

— Тибо, — сказала она, не оборачиваясь.

— Я тут, капитанша. — Голос пришёл откуда-то снизу, от фальшборта. — Я всегда тут, когда страшно. Мне тут спокойнее.

— Марс твой.

Пауза.

— Мой — это в каком смысле?

— В том, что когда мы подойдём, на марсе будут сидеть двое или трое с арбалетами. И если они до конца боя будут там сидеть, нас всех перестреляют, как уток. А ты с двадцати шагов попадаешь ножом в горлышко бутылки.

— С пятнадцати, — сказал Тибо скромно. — С двадцати — в бутылку.

— Значит, подберёшься на пятнадцать.

Ещё пауза. Длиннее.

— Капитанша, — сказал Тибо, — а можно я лучше на камбузе посижу, а потом всех покормлю? Это тоже очень важно для боя. После боя. Все голодные будут.

— Тибо.

— Понял, — вздохнул он. — Марс мой. Но имей в виду: если меня там убьют, похлёбку на завтра варить некому. Она у меня с вечера замочена.

Кто-то из матросов в темноте фыркнул. Исса улыбнулась — коротко, в темноту, где никто не видел. Она знала, что Тибо сделает. Тибо всегда делал. Он ныл, торговался, прятался за мачту, а потом ножи сами собой вылетали у него из рук, один за другим, и падали люди, которые за мгновение до этого были уверены, что их никто не видит.

— Шлюпки, — сказала она.

* * *

План был простой. Исса не любила сложных планов: в сложном плане слишком много мест, где может что-нибудь сломаться, а в темноте ломается всё.

Две шлюпки. В первой — Гардт и двенадцать человек. Они подходят к «Усердию» с носа, тихо, на обмотанных вёслах, по течению, которое здесь, у Рифов, медленно тянуло вдоль гряды на восток. Подходят к якорному канату и по нему — вверх, на бак. Вахтенный на носу смотрит вперёд, на Рифы: он боится Рифов, а не людей. Пока он смотрит на Рифы, Гардт берёт бак.

Во второй — Исса, Тибо и ещё десяток. Они идут к корме, где большие фонари. Под кормовыми фонарями свет бьёт вниз и вбок, и за кругом света — самая чёрная темнота, какая бывает. Там можно подойти вплотную. Можно закинуть крюк на поручень. Можно подняться.

«Вдовья Доля» остаётся за банкой. На ней — Ферс, Нима, Орвен, Пип и шестеро матросов. Если что-нибудь пойдёт не так, Ферс снимается с якоря и уходит. Без них.

Это Исса сказала Ферсу отдельно, на юте, тихо. Ферс посмотрел на неё долгим взглядом — у Ферса не бывало других — и сказал одно слово: «Нет».

— Это приказ.

— Нет.

— Ферс, если нас возьмут, ты должен увести корабль. Иначе возьмут и его.

Ферс подумал. Подумал ещё. И сказал два слова, что для него было почти речью:

— Тогда возьмут.

Исса посмотрела на него и поняла, что спорить бесполезно. Она отвернулась. Злость поднялась было, привычная, горячая, — и тут же погасла, потому что злиться было не на что. Ферс просто не уйдёт. Как не ушёл бы Гардт. Как не ушла бы она сама. Это было глупо, это было против всякого расчёта, и это было то, на чём держался весь её корабль, весь целиком, от киля до клотика, — и с этим ничего нельзя было сделать, кроме как вернуться.

— Тогда постарайся, чтобы не взяли, — сказала она.

— Да, — сказал Ферс.

Пип стоял у трапа и смотрел на неё такими глазами, что Исса, проходя мимо, остановилась.

— Нет, — сказала она, прежде чем он открыл рот.

— Но я...

— Ты останешься здесь. Будешь держать фонарь.

— Какой фонарь? Нельзя же огней.

— Тот, который зажжёшь, когда я прикажу. С «Усердия» я махну тебе красным. Тогда зажжёшь белый на клотике, и Ферс поведёт шхуну к нам. До этого — не зажигай. Даже если там будут кричать. Даже если увидишь, что кого-то убили. Понял?

Пип сглотнул.

— Понял.

— Повтори.

— Красный с «Усердия» — белый на клотике. До красного — не зажигать. Даже если... — он запнулся, — даже если убили.

— Хорошо. — Она подумала и добавила, сама не зная зачем: — Это важная работа, Пип. Без неё всё пойдёт прахом.

Это было не совсем правдой, а Исса не умела врать своим. Пип, кажется, это понял, потому что посмотрел на неё с обидой. Но спорить не стал.

У борта, на своей бухте, сидела Нима. Руки на коленях. Неподвижные.

— Ветер не трогай, — сказала ей Исса. Негромко, так, чтобы никто не слышал.

— Я и не трогаю.

— Что бы ни случилось.

Нима подняла на неё светлые глаза.

— А если...

— Что бы ни случилось, Нима.

Нима опустила голову. Исса постояла рядом ещё немного, потом пошла к шлюпке.

* * *

Вода была чёрная и тёплая. Исса сидела на корме шлюпки, держа румпель, и чувствовала, как вода течёт мимо — медленно, ровно, на восток, вдоль невидимой гряды. Вёсла входили в неё без звука: лопасти обмотали ветошью, уключины — кожей. Гребцы дышали тяжело и тихо.

Тибо сидел на носу, свернувшись, как кот, и что-то перебирал в руках — ножи, наверное. У него их было восемь. Он однажды показал ей, где они у него спрятаны, и она до сих пор не могла поверить, что восемь ножей помещаются на одном тощем человеке так, что их не видно.

Огни «Усердия» росли. Пять звёзд стали пятью фонарями, фонари стали светом, свет — палубой, мачтами, людьми. Стало видно вахтенного у носового фонаря: он стоял, облокотившись на планширь, и смотрел на Рифы, как Гардт и обещал. Стало видно второго, посреди палубы, у маленького огня: он сидел на бочке и, кажется, дремал. Стало видно марс — тёмную площадку высоко на грот-мачте под фонарём. Людей на марсе видно не было.

Это было плохо. Это значило, что они сидят тихо и смотрят.

Слева, в темноте, шла первая шлюпка. Её не было видно совсем. Исса только знала, что она там.

Корма «Усердия» поднялась над ними — высокая, пузатая, с резным коронным якорем под окнами капитанской каюты, с двумя огромными фонарями, которые вблизи гудели от жара. Свет падал на воду жёлтыми кругами. Исса провела шлюпку по краю круга, по самой его кромке, где жёлтое переходило в чёрное, — и ввела под корму, в тень, к самому рулю. Новому рулю. Перо было светлое, свежее, ещё не обросшее. Исса положила на него ладонь. Дерево было гладкое и пахло смолой. Хорошая работа, подумала она. Жалко.

Гребцы поднимали вёсла. Шлюпка встала, покачиваясь. Сверху, с палубы, доносились голоса — негромкие, сонные. Кто-то смеялся. Кто-то рассказывал, что у него в Высокой Марке жена, и что жена у него, ребята, такая, что когда он возвращается, она первым делом считает его пальцы, все ли на месте, а уж потом целует. Смеялись снова.

Исса подняла руку. Тибо на носу развернулся, в руке у него был крюк. Он раскачал его — раз, два — и бросил вверх, в темноту, мимо круга света. Крюк лёг на поручень с тихим стуком, как будто кто-то поставил на стол кружку.

Голоса наверху не смолкли.

Исса подождала. Сосчитала до двадцати. Где-то на другом конце корабля, у носа, Гардт тоже считал до двадцати — они договорились. На двадцати она полезла вверх.

* * *

Потом Исса никогда не могла вспомнить этот бой по порядку. Так всегда бывало с ночными боями. Днём всё видно, всё связано: вот этот ударил, вот тот упал, вот ты шагнула вперёд. Ночью бой распадался на куски, как разбитое зеркало, и в каждом куске отражалось что-то своё, и куски потом не складывались.

Кусок первый: она переваливается через поручень, и прямо перед ней — человек в коронной куртке, тот самый, с женой. Он смотрит на неё. У него открыт рот. Он не успел испугаться, он просто удивлён, как удивляются, когда в дверь входит незнакомая собака. Исса бьёт его эфесом в висок. Он садится на палубу и так и сидит, с открытым ртом.

Кусок второй: крик с носа. Гардт. Он не кричит слова, он просто ревёт, низко, страшно, как бык, — и этот рёв прокатывается по всему кораблю, и на мгновение все, кто есть на палубе, — коронные, пираты, все — замирают и поворачиваются на звук. Исса знает, зачем он это делает. Он делает это, чтобы все смотрели на него, а не на корму.

Кусок третий: щелчок над головой. Сухой, короткий, знакомый — так щёлкает арбалетная тетива. Что-то проносится мимо её уха с шорохом, будто мимо пролетела большая ночная бабочка, и втыкается в палубу у ног. Исса поднимает голову. На марсе, под фонарём — трое. Нет, четверо. Один перезаряжает, упирая арбалет в край площадки, двое целятся. Целятся в неё.

И тут же — второй щелчок, но другой. Мокрый. Как будто ножом ткнули в арбуз. Один из целящихся медленно, очень медленно наклоняется вперёд, через край марса, и падает. Летит вниз. Мимо фонаря. Исса видит в свете его лицо — молодое, бородатое, с рукоятью ножа под ключицей.

Она не видит Тибо. Никто не видит Тибо. Но второй стрелок вдруг роняет арбалет и хватается за плечо, а третий пригибается и прячется за краем площадки, и из-за края больше никто не высовывается.

Кусок четвёртый: она уже бежит. Палуба под ногами скользкая — кто-то разлил воду, а может, не воду. Навстречу из люка лезут люди. Морская пехота. Их видно сразу: красные куртки, короткие тяжёлые палаши, круглые шлемы, на которых играет свет фонарей. Их много. Больше, чем она думала. Гардт говорил — десяток. Она насчитала восемь, а они всё лезли.

Первый пехотинец — высокий, с усами, — встречает её палашом, широким рубящим ударом сверху, каким рубят дрова. Исса не принимает удар — от такого удара её сабля просто сломалась бы, отцовская сабля, — она уходит в сторону, вбок, вниз, и палаш со свистом проходит мимо и втыкается в планширь. Пехотинец дёргает его. Палаш застрял. Исса бьёт его саблём плашмя по пальцам на рукояти. Он кричит и отпускает.

Второй. Этот умнее, этот не рубит — колет. Колет хорошо, быстро, коротко, и Исса отступает на шаг, на два, отбивая, — сабля звенит о палаш, звенит, звенит, — и чувствует, как за спиной у неё кончается палуба и начинается фальшборт. Отступать некуда. Пехотинец это тоже чувствует, она видит это по его лицу, — у него за мгновение до удара становится спокойное, довольное лицо, лицо человека, который знает, чем кончится. Он колет — в живот, снизу вверх, — и Исса делает то, чего он не ждёт: не отбивает, а падает. Просто падает на палубу, на спину, и палаш проходит над ней, и втыкается в фальшборт, а Исса бьёт его ногой под колено, снизу, изо всей силы. Колено хрустит. Он падает на неё. Она откатывается. Встаёт.

Отец учил её фехтовать. Гардт учил её драться. Это были две разные науки, и в ночном бою на мокрой палубе вторая была полезнее.

Кусок пятый: кто-то из своих — Ланс, рыжий, с серьгой — лежит у мачты и держится за бок. Между пальцами течёт чёрное. Над ним стоит пехотинец и заносит палаш, и Исса не успевает, она в шести шагах, она видит, что не успевает, — и пехотинец вдруг выгибается назад и падает, с ножом в спине. Тибо. Где-то. Откуда-то.

Исса подбегает к Лансу.

— Живой?

— Живой, — говорит Ланс сквозь зубы. — Капитан, он мне куртку новую порвал. Я её только в Гавани...

— Лежи.

Злость. Вот теперь — злость. Горячая, быстрая, от живота к горлу, к глазам. Ланс был с ней шесть лет. У Ланса в Гавани была женщина, которая шила ему эти куртки, и каждый раз, когда он рвал куртку, женщина плакала и шила новую. Исса поднимается, и у неё в глазах становится красно, и она идёт на корму, где у трапа на ют стоят ещё трое пехотинцев и офицер в синем, с саблём.

Она не помнит, как дошла. Помнит только, что первый пехотинец отлетел в сторону, держась за лицо, а второй вдруг оказался на палубе, и она стояла над ним, и сабля у неё была поднята. И кто-то держал её за запястье.

Гардт.

Он стоял рядом, огромный, весь в чужой крови, и держал её руку — не сильно, просто держал, — и смотрел на неё. Ничего не говорил. Пехотинец лежал под ними и смотрел на её саблю. Он был совсем мальчик. Лет восемнадцать.

Злость ушла. Так же быстро, как пришла. Исса опустила саблю.

— Флаг, — сказал Гардт.

Она обернулась.

* * *

Офицер в синем стоял на юте у флагштока. Он был немолод — сорок, может, больше, — грузный, с седыми бакенбардами, в расстёгнутом мундире, надетом прямо на ночную рубаху.

Сабля у него была в руке, но он её не поднимал. Он смотрел вниз, на палубу. На своих людей, лежащих и стоящих. На пиратов, которых было уже больше, чем его людей. На марс, где никто не высывался. На Гардта.

На Гардта он смотрел дольше всего.

Потом он повернулся к флагштоку, взялся за фал и медленно, сам, своими руками, начал спускать флаг. Тёмно-синее полотнище с серебряным якорем поползло вниз, складками, тяжело, и легло ему на руки.

На палубе стало тихо. Совсем. Даже раненые замолчали.

Это было старое правило — старше Кодекса, старше Короны, старше всего, что Исса знала. Флаг спущен — сабли в ножны. Кто после спущенного флага ударит, тот не воин, а мясник, и его не примет ни один экипаж в Бескрае. Коронные это правило соблюдали. Пираты — тоже. Это было одно из немногих, в чём они сходились.

— Сабли в ножны, — сказала Исса громко.

Сабли пошли в ножны. Коронные бросали свои палаши на палубу, пираты убирали тесаки. Где-то кто-то всхлипнул и замолчал.

Исса поднялась на ют. Офицер стоял, держа флаг на руках, как держат ребёнка или покойника.

— Капитан? — спросила она.

— Капитан Брамм, — сказал он. Голос у него был хриплый, усталый. — Транспорт Его Величества... Её Величества, — поправился он, — «Усердие». А вы?

— Корвен. «Вдовья Доля».

Брамм поднял на неё глаза. Они были у него светлые, водянистые, с красными веками — глаза человека, который давно и плохо спит.

— Корвен, — повторил он. — «Шквал».

— Слышали?

— Слышал. — Он помолчал. — Не думал, что вы такая молодая.

— Я не молодая. Я просто ещё не умерла.

Брамм слабо улыбнулся. Потом протянул ей флаг.

Исса не взяла. Она смотрела на флаг, на серебряный якорь, вышитый на синем, и думала о другом флаге — о том, который висел над площадью в Высокой Марке двенадцать лет назад, большим, парадным, с тем же якорем, — и о том, что под ним стояло. Она не хотела брать этот флаг в руки. Ей было бы противно.

— Оставьте себе, — сказала она. — Мне он не нужен. Мне нужен груз.

* * *

Потом были обычные дела. Скучные, длинные, которые в песнях не поют.

Коронных согнали на бак и посадили на палубу, руки на затылок. Раненых отделили, своих — к своим, чужих — к чужим. Своих было трое: Ланс с распоротым боком, молодой Вик со стрелой в бедре, старый Гаммель, которому кто-то в темноте сломал палашом два пальца. Убитых у Иссы не было. Убитых у Брамма было четверо — двое с марса, двое пехотинцев. Она приказала накрыть их парусиной.

Ещё был офицер морской пехоты, лейтенант, которого никто из её людей не трогал: он сидел у грот-мачты, держась за голову, и говорил, что упал с трапа. Наверное, так оно и было.

С марса спустили двоих живых. Один держался за плечо — нож Тибо прошёл навылет. Второй был цел, но белый как мел и всё время смотрел вверх, на пустой марс, будто ждал, что оттуда прилетит что-нибудь ещё.

Тибо появился, когда всё кончилось. Он вылез откуда-то из-за бухты якорного каната, потягиваясь, отряхивая фартук, — он и на abordаж пошёл в фартуке, — и пошёл по палубе, собирая ножи. Из мёртвых он вынимал их аккуратно, из живых — тоже аккуратно, но с изви-

нениями. Раненому стрелку сказал: «Ты прости, братец, я целил в руку, а попал в плечо, это я от волнения». Стрелок смотрел на него с ужасом.

— Восемь, — сказал Тибо, подходя к Иссе. Он вытирал последний нож о фартук. — Все нашёл. Один в мачте застрял, еле выдрал.

— Ты кидал из-за каната? С тридцати шагов?

— С двадцати восьми. Я считал. — Он вздохнул. — Говорил же — с двадцати только в бутылку. Повезло.

Исса посмотрела на него. Тибо ухмылялся. Левый глаз смотрел на фонарь, правый — на неё, и в правом было что-то такое, чего Тибо никогда никому не показывал нарочно, а показывал только случайно, после боя, когда ещё не успел спрятать. Как будто он сам не верил, что жив.

— Похлёбка с вечера замочена? — спросила она.

— Замочена.

— Сваришь на всех. И на них, — она кивнула на бак, на коронных. — Им до утра сидеть. Тибо посмотрел на бак, потом на неё. Потом сказал:

— Капитанша, на них — это ещё двадцать мисок.

— Значит, двадцать.

— А с чего?

— С чего хочешь. Ты ж из ничего умеешь.

Тибо вздохнул так, будто она приказала ему спрыгнуть с марса.

— Из ничего у меня выходит ничего, — сказал он. — Я тебе говорил. — И пошёл к шлюпке.

Исса повернулась к корме. На корме, на гакаборте, она подняла красный фонарь — сняла с крюка у двери капитанской каюты, накрыла полой куртки и снова открыла, три раза. В темноте на юге, за банкой, через какое-то время зажётся маленький белый огонёк. Высоко, у самого клотика. Дрожащий.

Пип, подумала она. Дождлся.

* * *

Брамм стоял у грот-мачты, под фонарём, со связанными спереди руками — Гардт связал их сам, аккуратно, не туго, как связывают старшему по званию. Флаг лежал у его ног, свёрнутый. Он так его и не отпустил, пока Гардт не забрал и не положил рядом.

Исса подошла к нему.

— Ключи от трюма, — сказала она.

Брамм поднял голову.

— На поясе. Слева.

Она отстегнула от его пояса связку. Ключи были большие, железные, тяжёлые, на кольце. Четыре. Один был новее остальных — светлый, блестящий, с хитрой бородкой.

— Этот от чего?

Брамм посмотрел на ключ и ничего не сказал.

— Капитан Брамм, — сказала Исса, — я спросила, от чего ключ.

— От нижнего трюма, — сказал Брамм. — Кормового отсека.

— Там жемчуг?

Он помолчал.

— Вы ведь за жемчугом пришли, капитан Корвен.

— За жемчугом.

— Тогда вы его найдёте. Немного. — Он снова помолчал, и в этой паузе было что-то такое, от чего у Иссы по спине прошёл холодок, будто кто-то провёл мокрым пальцем. — Только вам он не понравится.

— Что там?

Брамм посмотрел на неё — долго, своими красными, бессонными глазами. И Исса вдруг поняла, что он не боится. Не её, не Гардта, не своей судьбы, не того, что его ждёт в Высокой Марке за потерянный транспорт. Он боялся чего-то другого. Того, что внизу.

— Вас за это повесят, — сказал он тихо. — Не за транспорт. Транспорт — это ерунда, транспорты теряют. Вас повесят за то, что там лежит. — Он отвёл глаза. — Если, конечно, вы его заберёте.

— А если не заберу?

— Тогда, — сказал Брамм, — повесят меня.

Исса подержала ключи на ладони. Новый ключ поблёскивал в свете фонаря.

— Гардт, — сказала она. — Фонарь. Пошли посмотрим, что у капитана Брамма в трюме такого, за что вешают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.